

II

НА РУБЕЖЕ СТАРОГО И НОВОГО ГОДА

Грезы и видения Нового Поэта

**«Чудная картина,
Как ты мне родна...
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких
И блестящий снег»...³⁸**

Эти стихи всякий раз вертятся у меня на языке, когда, закутавшись с ног до головы в шерсть и мех и все-таки замирая от холода, я прохаживаюсь, как все праздные люди, для здоровья и аппетита по петербургским улицам...

Чудная картина! Вот она — настоящая-то русская зима, во всем своем трескучем и колючем величии и во всей своей ледящей поэзии!..

197

В самом деле, что за прелесть! Петербург весь окутан белым пушистым покрывалом: на крышах, на карнизах домов, на драконах, на кариатидах, на заборах, на столбах, на сточных трубах, на монументах — везде груды снега; на улице у тротуаров снежные стены выше роста человеческого; все зеркальные и цельные стекла магазинов расписаны снежными пейзажами и узорами; все граниты и мраморы опущены снегом; все фонари покрылись матом и сквозь этот мат чуть-чуть мерцает газ; прозрачное, ясное небо ночью усеяно миллионами ярко сверкающих звезд; первая четверть месяца ярко вырезывается на синеве неба;

весь Петербург топится, и белый дым поднимается кверху над исполинскими зданиями, застилая прозрачную синеву; пар от лошадей и людей стелется по улицам; длинные, прозрачные, как хрусталь, капли висят на украшениях домов, как стекла на люстре; высунувшиеся из шуб носы белеют; колеса и санные полозья визжат и скрипят по плотной снежной равнине, искрящейся звездочками; Нева вся всколышена снежными волнами и буграми; все ветви на кустах и деревьях петербургских садов и скверов висят, отягченные снегом; гремя бубенчиками, тройки, птицы-тройки, как их называл Гоголь в поэтическом экстазе, летают по улицам, с весельчаками, покрытыми инеем и морозною пылью...³⁹

Восхитительная картина,

«Чудная картина,
Как ты мне родна»!..

И сколько в тебе поэзии, особенно *для нас*, у которых камины и печи, войлоки и ковры на полах, подушки на окнах и которым нечего заботиться о цене дров, — а дрова-то, говорят, очень вздорожали. Бедные эти люди, живущие в Галерной, на Выборгской и Петербургской сторонах, в Семеновском полку, на Песках!⁴⁰ «Им теперь вовсе не до поэзии зимы!..» — подумал я, вздохнув довольно эгоистически и поправив уголья в камине...

Это было накануне Нового года. Я чувствовал себя не то чтобы совсем здоровым, не то чтобы больным... У меня так, слегка болела поясница. Эта легкая боль доставляет мне всегда большую приятность: она располагает к лени, к неге, к разным мечтам и фантазиям. В комнате моей было хорошо, тепло и уютно: с одной стороны раскаленный каменный уголь в камине и синий огонек, пробегавший по его трещинам; с другой лунный блеск, освещавший стекла

окон, причудливо расписанные морозом, и на треножнике, освещенном карселем⁴¹, небольшой, но прекрасный пейзаж Пуссеня⁴², за несколько часов перед этим подаренный мне. Я отказался от всех приглашений и решил встретиться с Новым годом один.

Приятнейшая теплота разливалась по моим членам, я ощущал удивительное внутреннее спокойствие и довольство; кругом меня была ничем не нарушаемая тишина, и я только от времени до времени потягивался и позевывал смотря то на моего Пуссеня, то на перебежавшие огоньки в камине, то на узоры стекол...

Никакие желания, никакие надежды, никакие ожидания не раздражали моей крови, — а сколько петербургских чиновных и сановных сердец бьется накануне этого дня желаниями и ожиданиями наград, украшений, повышений

198

и тому подобного!.. И как они, бедные, волнуются в эту минуту, когда я лежу спокойно на моем диване!

Я потянулся и взглянул на часы.

Оставался только час до Нового года.

Теперь эти господа бреются, моются, чистятся, душатся, помадят свои парики, прикрывают остатками волос свои лысины, облакаются в белые или атласные панталоны с золотыми лампасами, надевают свои расшитые и раззолоченные мундиры.

И при этой мысли я крепко завернулся в свой байковый халат...

В воображении моем грустно мелькнули было заштатные, отставленные служащие труженики, ожидающие крупницы из *остаточных* сумм, — вся эта

корпящая над бумагами мелюзга и мой бедный Андрей Петрович на Выборгской стороне; но я тотчас же, чтобы ничем не тревожиться, отогнал от себя все эти мрачные тени...

Вот уж и половина двенадцатого...

Прощай, 1860 год! Несмотря на оскорбления, клеветы и насмешки, претерпенные мною от тебя, я не питаю к тебе ни малейшей злобы и провожаю тебя с миром!

Ты совершил много, и имя твое не забудется.

Ты одушевлял великий итальянский народ патриотическою мыслию единства; ты сокрушил чужеземное владычество в Италии и троны мелких владельцев; ты дал силу Гарибальди с горстью патриотов и почти без пролития крови совершить чудо и войти победителем в Палермо и Неаполь; ты высоко поднял пред изумленным взором европейских дипломатов знамя итальянского единства; ты затронул вопрос о светской власти папы⁴³; ты поколебал упорство габсбургского дома и заставил его прибегнуть к некоторым уступкам и реформам⁴⁴; ты во Франции дозволил рассуждать о тронных речах и не без благосклонности улыбнулся французской *прессе*⁴⁵; ты даже в апатической, налитой пивом Германии пробудил какое-то смутное стремление к единству⁴⁶; ты обнаружил вполне бессилие Турции⁴⁷ (это, впрочем, небольшая заслуга... кто же не знал до тебя об этом бессилии?); ты расшевелил неподвижный Китай с его громадным населением и с горстью европейцев победоносно вошел в Пекин, блистательно доказав, что перед одним дуновением цивилизации падают, как карточные куклы, миллионы людей, коснеющие в мертвых формах... Эту горсть европейцев могли бы, казалось, закидать своими шапками только одни почтенные мандарины⁴⁸. Ты поднял горячий, грозный вопрос о постыдном невольничестве в Американских Штатах⁴⁹ и поставил во враждебное

положение Север с Югом. Ты разрабатывал в нашем любезном отечестве великий вопрос об уничтожении крепостного права. До какой степени ты серьезно смотрел на этот вопрос и подготовлял его к разрешению — мы еще не знаем; это может быть обнаружит твой преемник, но все-таки ты усердно занимался этим вопросом, что делает тебе, конечно, большую честь...

В короткое время твоего существования ты обнаружил большую и полезную деятельность, и грешно было бы тем, которые веруют в прогресс человечества, не помянуть тебя добрым словом!

Ты и для нас не прошел даром. Ты сделал первый шаг к нашему народному

199

образованию... Ты завел тысячи комитетов и комиссий по поводу различных имеющихся в виду реформ и улучшений⁵⁰.

Сколько утонченных удовольствий дал ты нам, поклонникам искусства (хотя бы и не для искусства). Ты заставил Тургенева подарить нас двумя прелестными повестями, из которых в одной он изобразил нам благородного болгара — Инсарова, тщетно порывающегося освободить свое отечество... Ты оживил нашу сцену новою драмою Островского, в которой столько народной правды и поэзии... Из таинственного портфеля Гончарова ты вынул тайком несколько страниц и опубликовал их почти против воли автора, доставив ему чуть не капитал, потому что он каждую строчку справедливо ценит на вес золота... Ты доставил г. Авдееву за его «Подводный камень» тысячу прелестнейших поклонниц...⁵¹ У нас в Петербурге по крайней мере большинство дам восхищены этим романом!..

Ты пригласил к нам в Петербург великую артистку⁵², доставившую нам минуты высокого эстетического наслаждения... Ты был так снисходителен, что бескорыстно для себя выхлопотал дозволение поставить на сцену «Свои люди — сочтемся»⁵³ и поднес великодушно этот неожиданный подарок своему преемнику... Ты из пожарных развалин петербургского цирка воздвигнул великолепный театр⁵⁴, осветил газом несколько петербургских улиц — и только никак не мог совладеть с водопроводной компанией⁵⁵, в трубы которой — увы! — до сих пор не проходит вода...

А гласность—то! гласность—то!.. Никак нельзя сказать, чтобы она сделала при тебе исполинские шаги... да и можно ли требовать этого? Она еще родилась у нас так недавно, она дитя — у ней шажки неверные и маленькие, голосок неустановившийся, она ковыляет и спотыкается, шалит и кричит о пустяках, воображая, что делает дело, — все это, конечно, довольно смешно и забавно для взрослых. Но что бы ни говорили, а это милое дитя подает большие надежды, по крайней мере более основательные и прочные, чем те надежды, которые так недавно еще возбуждали в нас, неисправимо увлекающихся людях, гг. Случевский и Апухтин!⁵⁶ Ты был немилосерд, 60-й год, к этим юным поэтам!..

А каких удивительных героев гласности вывел ты перед нами. Как они смешно размахивали своими картонными мечами! Как гордо издевались над своими жертвами!.. И кто забавнее — герои или жертвы — решить трудно.

Прелестное дитя — русская гласность — открыло нам великие истины, что драться на улицах и бить дам в вагонах⁵⁷ — совершенное готтентотство; что юродивые дурачки, прикидывающиеся пророками, вроде московского лжепророка Ивана Яковлича, — праздношатающиеся

негодяи⁵⁸, достойные преследования, а их поклонники и поклонницы — жалкие, невежественные ханжи... Шаловливая гласность, к великому удовольствию настоящего г. Якушкина⁵⁹, открыла нам еще Лже-Якушкина и какую-то милую даму, грациозно подносящую лавровый венок больному и лежащему в постеле Гарибальди⁶⁰.

С каким горячим и благородным негодованием малютка — гласность — изобличала и преследовала калужских прогрессистов⁶¹, шумевших в театре; г. доктора Николина за перенесение из больницы г-жи Требуховой с рвотою и болью в животе; почтенного московского аптекаря Миндера за

200

фунт железного купороса, который он, вместо назначенной министерством внутренних дел цены 4 к. с., продает (будто бы) за 1 р. 25 к. с.... С какою любовью и жаром трактовала она о жалованье предводителям дворянства; описывала орлиный нос какого-то шарлатана г. Грабянки⁶² и его *зубы, которыми он гордился, грыз орехи и любил кожу ветчины, которую жевал свободно*. В какое негодование приходила она на каких-то забулдыг-цыганистов шумевших и неприлично державших себя в увеселительном саду московского эрмитажа перед дамами и перед мундирами. — Какие необыкновенные открытия совершала она, открыв в Москве, в ее сердце — Кремле, залу с барельефами, на которых иносказательно изображены подвиги императрицы Екатерины II. Это открытие принадлежит нашему земляку, петербургцу, что особенно лестно для нас, петербургских жителей, в которых москвичи не признают никаких достоинств и талантов ...«А вот-таки пригодился

же на что—нибудь москвичам наш петербургский земляк!» — подумали мы с гордостью.

Наша гласность, между прочим, оказывала бойкость и смелость не по летам. Она вступала в открытую борьбу... с кем бы вы думали? — с пожарными командами (астраханской и полтавской)...⁶³ Ребенок, воюющий с полицеймейстерами, брантмейстерами и их командами... Какое зрелище! Чего же не ожидать от такого ребенка, когда он подрастет немного?... Какую глубокую ученость высказала милая гласность в спорах по поводу упраздненного города Никитска⁶⁴, в гербе которого были три отесанные камня и в уезде которого родился один из скончавшихся недавно светильников нашей церкви!..⁶⁵

Невозможно ни припомнить, ни перечесть всех подвигов, совершенных гласностию в 1860 году.

Меня особенно интересовали ее безымянные обличения дурных поступков злоупотреблений разных лиц под буквами А, Б, В, Г, Д и так далее.

— Какого рода пользу могут приносить такого рода таинственные обличения? Это нелепо! — восклицали строгие судьи, следившие за подвигами гласности...

Эти господа не хотели принять в соображение, что то были только риторические упражнения малютки, первые ее опыты в красноречии, пробы еще неопытного пера, но опыты и пробы, в которых виден талант и которые подают большие надежды...

Они были помещаемы на *страницах журналов* (как выражаются журналисты) именно в этом смысле. Неужели же наши ученые редакторы смотрели серьезно, думали придавать им какое—нибудь значение?.. Конечно, поощряли малютку—гласность и гладили ее по головке...

В таком же, кажется, смысле «Современник» печатал на *своих страницах* стихотворения гг. Случевского, Апухтина, Кускова и других... Некоторые журналы подняли

при этом страшный гвалт и закричали, что «Современник» серьезно принимает их за *великих поэтов* (это было бы забавно!), и пустились строчить пародии на гг. Случевских и Кусковых⁶⁶. Не явись произведения этих господ *на наших страницах*, ни один бы журнал наверно не упомянул об них... Мы замечаем это не потому, что самолюбиво придаем себе какое-нибудь значение, — боже сохрани! но хотим только показать, до какой степени

201

любезны и внимательны к нам наши собраты по журнальному ремеслу...

Кстати о пародиях... Как человек неученый и веселый по натуре, в противоположность ученому редактору «Отечественных записок» (я говорю не о г. Дудышкине, а о г. Краевском)⁶⁷, я очень люблю шуточные стихотворения и пародии, имеющие какой-нибудь смысл и значение... Стихотворения австрийского поэта Хама в переводе Лилиеншвагера приводят, например, меня в восторг, так же как и некоторые оригинальные его произведения; но, признаюсь, эти *пародии для пародий* разных неувенчанных, увенчанных, обличительных и других поэтов, которых развелось так много в 1860 году, — явление весьма жалкое и запоздалое⁶⁸. Есть что-то оскорбительное и неприятное в этом пошлом, бесцельном, грязном и тупом передразниваньи наших лучших поэтов... Такого рода пародии не могут заставить никого даже улыбнуться.

Неужели, например, есть что-нибудь остроумное в таких стишках:

Не гляди так убийственно строго,
Дай мне сроку еще хоть немного,

**А уж деньги когда получу,
Ты увидишь, как я закучу...**

или:

**Если ж ты джин и коньяк
Ставишь на мой произвол,
Я напиваюсь так,
Что упадаю под стол...**

или:

**Я верю: пьян я, пьян. Да и нельзя не верить,
Мошенник этот, хмель, не может лицемерить.
Все непритворно с ним: лица багровый жар,
Над бровью резь и лом, — слепой оглобли дар,
К бульварным мотылькам стремительная
нежность,
*И с ног, пустившись к ним, свалиться
неизбежность...***

**Ко мне захаживал во время оно майор А⁶⁹, один из тех
вечно полупьяных героев, просителей в форменных
сюртуках и с подвязанною рукою, которые часто
останавливают на петербургских улицах просьбами о
пособии. Мой герой–проситель имел чрезвычайно
галантерейное обращение и, входя в комнату, всегда
говорил: «*Ексклюзе пур деранже*», расшаркивался и потом
заговаривал обыкновенно стихами...**

**— Я считаю вас не иначе, как моим благодетелем, —
сказал он мне однажды, принимая целковый и потом
прикладывая два пальца ко лбу... — Мне пришла в голову**

третьего дня вечером фантазия... *vu save ke жем ла поэзи** ...
Я взял перо и потряхнул стишками... позвольте прочесть?

Он стал в позицию и, поводя плечами, прочел немного в нос свое стихотворение, из которого я запомнил только четыре стиха:

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И после выпивки заляжешь, утомленный,
Ползет в голову такая дребедень,
Глаза закатятся и захрапишь мгновенно...

202

Где теперь этот господин?.. Я потерял его из виду... Уж не он ли под различными псевдонимами снабжает наши сатирические газеты такими милыми подражаниями и переделками?..

Мысли мои начинали немного мешаться, глаза застилал легкий туман, в этом тумане изредка пробегали то синие огоньки, то морозные искорки... Майор А* кланялся г. Козляинову, выставив локти вперед, — тому самому Александру Павловичу Козляинову, который приобрел такую громадную известность на Руси своим подвигом на железной дороге, о котором *пресса* наша не умолкает до сей минуты и через которого мы имели случай познакомиться с гг. Львом Камбеком, князем Н. Н. Голицыным⁷⁰ и другими.

Каким образом г. Козляинов очутился передо мною и почему это был именно г. Козляинов? — Я спрашивал себя об этом, но не мог дать себе отчета.

Майор А* остановился перед ним, поднял правую руку и произнес в нос:

* Вы знаете, как я люблю поэзию (франц.). — Ред.

С прекрасным полом обращаться
Нежнее следует, mon cher*,
Какой решится кавалер
Бить даму или с дамой драться?...

Г. Лев Камбек отталкивал майора и кричал, что с г. Козляиновым следует говорить не стихами, а приказной прозой, и грозился начать с ним иск. Князь Н. Н. Голицын, глядя на г. Камбека, иронически улыбался и спрашивал:

— Ну что же вы не начинаете его?

Вдруг откуда ни возьмись небольшой, очень почтенной наружности господин, в котором я почему-то узнал провизора Лубянской аптеки г. Фосса.

— Справедливо изобличать, — произнес г. провизор с расстановкою, — дурные поступки какого-либо господина — это принято во всяком благоустроенном государстве, и я против этого не могу сказать ничего; но обвинять человека публично и несправедливо — это значит злоупотреблять печатным словом. Г. Забелин, обвинивший меня в том, что я продаю фунт полезного купороса вместо 4 к. 1 р. 25 к. — вполне доказывает незнание своего предмета, ибо на 48 странице аптекарской таксы, изданной от мединского совета, значится: Ferrum sulphuricum цена за 1 унцию 1 к., то есть за фунт 12 к. сер. — Здесь идет речь о простом неочищенном купоросе — crudum; очищенный же железный купорос — ferrum sulphuricum purum за 1 драхму платится 3 к. — то есть за унцию 18 к. с., а за фунт 2 р. 16 к. сер. — Да позволено же мне будет удивляться, что г. Забелин не знал и не догадался о существовании двух различных сортов железного купороса.

— Placet probis suo rem quamque nomine appellare!** , — воскликнули в один голос провизор г. Фосс и занимающий должность рецептариуса Лубянской аптеки г. Миндер...

* мой дорогой (франц.). — Ред.

На это возражение не отвечал никто...

«Отчего же молчит г. Забелин?» — вскрикнул я, очнувшись, протирая глаза и озираясь кругом...⁷¹.

203

— Я, кажется, наяву брежу, — подумал я и продолжал думать лениво:

Все прошлогодние проделки гласности не перечтешь! Вот сколько месяцев г. Илья Арсеньев ожидает вызова к суду⁷², которым грозят ему генерал Кабат, гг. Ефремов, Лампе и Виттенгейм, нынешние директора царскосельской железной дороги, оскорбившиеся тем, что г. Арсеньев заметил о беспорядках, происходивших на Павловском празднике 9 июля... Г. Арсеньев предложил почтенным директорам порешить дело третейским судом, без апелляции... и просил их ответа на это предложение...

Последовал ли ответ? Кончилось ли чем-нибудь это важное дело, о котором трубила гласность почти так же долго, как о г. Козляинове? ..

Что если все господа обличаемые вздумают вести дела с своими обличителями судебным порядком и станут путаться по несколько лет в канцелярских формальностях и тайнах?.. Это было бы оригинально... А ведь гласность, заварившая всю эту кашу, останется в стороне, да еще будет подсмеиваться над тяжущимися.

Вот, например, славная тема для процесса:

В каком-то городе (я уж не помню) разыгрывалась лотерея в пользу чего-то или кого-то (я также забыл). В числе выигрышей была «Искра» 1859 года. Эту «Искру» выиграл какой-то гимназист⁷³, и вообразите — о, ужас!.. вместо неоказавшейся «Искры» гимназисту выдали

**** Порядочным людям положено называть каждую вещь своим именем (лат.). — Ред.**

деньги... Из этого возникает страшный шум... Сейчас является *обличитель*... Он мечет громы и молнии на учредителей лотереи, учредители, в свою очередь, бросают в обличителя грязью: говорят, что он пользуется в их городе самой незавидной репутацией, из службы уволен... и прочее. За обличителя против учредителей вступается несколько граждан, против этих граждан восстают другие граждане. Завязывается бесконечный бой, дела принимают страшные размеры; в течение десяти месяцев гласность не умолкает о гимназисте и «Искре». Человек десять, а может быть и более оскорбили друг друга по этому делу... А между тем гимназист, получивший вместо «Искры» деньги, вероятно, очень доволен своей судьбой!..

Глаза мои совсем слипались, мне показалось, что кто-то положил мне руку на плечо, наклонился к моему уху и прошептал старческим голосом:

— Знаете ли, за что я люблю гласность?

— За что? — спросил я.

— За то, что по ее милости теперь чаще являются перед нами изящнейшие писатели *нашего времени*, нашего доброго старого времени, наши первые стилисты и люди — это только, бога ради, между нами (старческий голос прошептал едва слышно), и люди... с либеральными воззрениями!!

— Да что вы шепчете-то? Не бойтесь... Опасности нет никакой — ведь теперь все либералы...

— Как? неужели? — воскликнул наивно старческий голос и засмеялся.

— В нашу молодость, — продолжал он, — между нами, людьми либеральными и образованными (а таких избранных было тогда немного; мы считались, так сказать, общественными перлами), отличался в особенности один⁷⁴ — своим блестящим умом, светскостию и литературным талантом. Он появлялся через пять-шесть

лет со статьею (разумеется, по какому–нибудь важному поводу). Появление каждой его статьи была эпоха: изящество

205

выражений, остроумие, тонкость оборотов, выделка фраз, глубина взгляда, все это поражало нас, — и мы после появления такой статьи несколько лет сряду кричали об ней. Через четыре года автор дарит нас новой статейкой; опять шум и гвалт на несколько лет. Слава его таким образом дошла до новых поколений, и он, ободренный возникшею у нас гласностию, вздумал издавать «Наше время»...

«А–а! так вот о ком идет речь», — подумал я.

— Откровенно скажу вам, господа, — продолжал старческий голос, — что вы, по–моему, относительно *стиля* далеко отстали от нашего времени, — вы только все хлопчете об одной мысли — и представляете нам ее голою, без всяких украшений, без всяких фиоритур. А сколько теперь прелестных предметов для изощрения слога... Вот, например, кто–то задел недавно калужских молодых прогрессистов, шумевших в театре. Г. Жемчужников вступился за прогрессистов. Это прекрасно, но дело в том, что хотя молодые прогрессисты заслуживают, по его свидетельству, полную благодарность за их благородную и честную деятельность, все–таки остается факт, что они вели себя в театре перед публикою не совсем осторожно... Вы бы, господа нынешние, и возразили на это г. Жемчужникову в двух словах, как я теперь возражаю вам, а стилист «Нашего времени» воспользовался этим случаем, чтобы, так сказать, рассыпать перлы своего красноречия. Он умел сделать из этого прелестную статейку, обделанную, как игрушечка, и, читая ее,

ощущаешь такое же наслаждение, какое доставляет вам на сцене отличный и грациозный танцор. Послушайте, я вам прочту из нее отрывок:

«Что же хотели мы выразить, куда метили, какое нравоучение извлекли из показаний калужского жителя? Нам подумалось, что это обыкновенная история, несколько не любопытная и не оригинальная; что у нас иногда бывает странное смешение чувств, понятий и поступков; что они соединяются в одном лице, когда между ними нет ни химического сродства, ни логической связи; что люди, называющие себя или слывущие передовыми, прогрессистами, принадлежащие к так называемому хорошему обществу, львы или сливки его, умеют сберечь в своем сердце уголок для диких побуждений; что они точно так же, как эти несчастные, загнанные и грубые натуры, известные под позорными именами вандалов, готтентотов, отсталых, — способны в случае надобности наругаться над личностью человека, за которую так горячо ратуют, оказать пренебрежение к обществу, которого права так превозносят, совершенно потеряться в самообожании, в наслаждении своим я и думать, что этому я должно быть все позволено, потому что оно образовано, просвещено, стремится к распространению великих идей, имеет в виду высокие цели. Отвергнете ли вы эту мысль? Найдете ли ее ложной или преувеличенной! Согласитесь ли, что, высказывая ее, мы думали собственно не о калужском театре? Конечно, не отсталые хоронили Мартынова⁷⁵, не невежды показали столько чувствительности к искусству и столько благоговения к таланту. Это было утешительное явление нового времени, тут находились *будущие надежды России, все обожатели человечества, все просвещенные люди, не пропускающие ни одного дня, чтоб много и много раз не повторить, как молитву, прекрасных и заветных*

слов: развитие, народ, прогресс! Но в то время, как, попирая ногами рутину, они воздавали

205

неслыханные почести актеру, не *их ли язык грозно кричал на присутствующих и проходящих: шапки долой. Становилось страшно!* Ну, если кто-нибудь из этих прогрессистов да попадет в квартальные, ведь в городе жить будет нельзя. Власть присоединится к теории, и тогда пошла писать. Может быть проходил мимо гроба человек с больной головой, который боялся открыть ее на воздухе; может быть он отроду не бывал в театре и ходить в него считает грехом; может быть он задумался о затруднении, в какое эти похороны ставят итальянцев на случай смерти Гарибальди, как надо будет хоронить его? Наконец, может быть он, оставаясь с покрытою головой, хотел заявить свой протест и полагал, что если человек сотворен человеком, то ему не следует *отправлять должность лошади и возить на своих плечах кого бы то ни было из мертвых и живых*».

— Согласитесь, что это прелесть! Какая текучесть фраз, какие тонкие аргументы о Мартынове, Гарибальди; какие вариации на самую простую тему. Вот это мастерство! Это стиль!..

Кстати о Гарибальди, или лучше о той русской даме, которая напечатала в «Московских ведомостях» о своем визите к Гарибальди, о поднесении ему венка и прочее. Какое тонкое светское остроумие, какую изящную иронию возбудила в публицисте «Нашего времени» эта дама!.. Слушайте, слушайте!

«Мы молчали» (начинает он и ставит точку)... «Московские ведомости» вводили нас в искушение, но мы вооружились твердостью и не поддавались соблазну. Они,

по чувству беспристрастия или от *притупленной чувствительности*, не пощадили прекрасного пола и приняли в свои столетние недра отрывок из письма русской дамы»...

Молчание публициста «Нашего времени» было нарушено только появлением того же отрывка в газете «Le Nord»... Появившись в «Норде», русская дама делается для него, как он прелестно выражается, «чужой, каким-то *неземным существом*, которому мы и не смеем причесться в родню...»

«Она, — продолжает он, — превратилась для нас в *бесплотного духа, в идею*; мы видим уже не одну путешественницу; за нею тянется длинный ряд других, многих»...

И пошел и пошел о русских путешественницах, да ведь с каким красноречием!.. Досталось же им!

«Дело в том, — восклицает красноречивый публицист, — что до сих пор ни одна русская дама, кроме княгини Голицыной в прошлом столетии, г-жи Свечиной и княгини Ливен в нынешнем, не заявили себя в Европе наряду с теми женскими именами, которыми гордится общество, воспитавшее их»... и так далее, и так далее... Прелесть!

«А-а! опять Свечина! — подумал я, — праху этой бедной Свечиной не дают покоя в могиле... Для нее забывают наши ученые, журналисты и публицисты современные внутренние вопросы; из-за нее вступают в спор г-жа Тур и г. Катков, причем обнаруживается деспотизм последнего относительно его сотрудников; г-жа Свечина — ну кто мог подумать это? — причиною того, что от «Русского вестника» отделяются некоторые из его деятелей и основывают «Русскую речь»... Вот какие чудеса производит после смерти своей в русской литературе эта русская дама, не знавшая отечественного языка,

но которой, по мнению г. Павлова, гордится *общество, воспитавшее ее...* то есть какое же? Иезуитское общество?

— Ну—с, так какой же результат выводит г. Павлов из своей статейки о русской барыне, поднесшей венок Гарибальди?..

— Автор заключает свою статью блестящим образом, — произнес с некоторой торжественностью старческий голос. — Он оправдывает и Гарибальди, принявшего русскую даму, и русскую даму, посетившую его, для которой, как он выражается, спасение народа и величие человека есть не что иное, как препровождение времени. «Они (то есть Гарибальди и русская дама) *хотя поговорили дружелюбно, но вышли из противоположных станов, из разных атмосфер и имеют не ту же родословную. Усилия одного человека, как бы он ни напрягался, не дадут ему той серьезности воззрений, тех святынь души, которыми так сладка и разумна жизнь...*»

Я ничего не понял. Я чувствовал, что от усилия понять эти слова у меня кровь приливает к голове, жилы на висках бьются. Эти слова показались мне даже просто собственным бредом...

А старческий голос продолжал нашептывать мне еще какие—то витиеватые фразы, восхищался ими и повторял мне под самое ухо: «Вот *стиль—то!*.. Нет, воля ваша, вы, нынешние, не умеете так писать. Писатели «Нашего времени» пишут, точно жемчуг нижут! Вы, господа, пренебрегаете изяществом слога, красотой формы... К тому же вы пускаетесь все в крайности, увлекаетесь различными несбыточными утопиями, отвлеченными общечеловеческими теориями опередивших нас народов, забываете, что синица в руке вернее журавля в небе; вы не знаете никакой меры, не признаете никакой постепенности,

не чувствуете земли под ногами, стремитесь в какую-то высь. Все это юношеская заносчивость, безумное увлечение, непростительная гордость, необузданное самолюбие... Умерьте свои порывы, не заноситесь в облака, не забегайте вперед, идите наряду с нами, благонамеренными людьми, тихим, ровным и сдержанным шагом, обрабатывайте ваш *стиль*, изучайте отечественные нравы, потребности и постановления, вникайте во все это, пусть каждый действует в своем небольшом кружочке; будьте справедливы, незлобивы, беспристрастны, больше делайте, чем говорите, ибо во многоглаголании нет спасения».

Старческий голос стал, признаться, немного надоедать мне.

— Да и Аскоченский говорит то же самое⁷⁶, *ваше превосходительство!* — перебил я.

Мне почему-то показалось, что старческий голос принадлежал одному из тех некогда горячих защитников прогресса, которых лета, чин и связи с разными значительными лицами остановили в должных границах светского приличия.

— Мы, пожалуй, для удовольствия вашего превосходительства последуем мудрому совету, но — я не могу этого скрыть от вас, простите великодушно моей откровенности, — мне очень больно, что вы с таким пренебрежением изволите отзываться ныне об утопиях и общечеловеческих теориях⁷⁷, от которых некогда так горячо билось ваше чистое, юношеское сердце. Мне больно это потому, что я в первый раз от вас же услышал об этих утопиях и теориях; вы первый, ваше превосходительство, расширили мой

кругозор, показали мне смысл жизни, заставили меня прозреть, объяснив мне значение прошедшего и настоящего, с любовью и верою указав на будущее. Я никогда не забуду того, чем я обязан вам, тех чудных и поучительных вечеров, которые я имел честь проводить в вашем обществе...

Старческий голос при этих словах смягчился немного. Послышался глубокий вздох.

— Эх!, — произнес он, — все-то это, батюшка, было кипение крови, порывы молодости. Благоразумие, лета смиряют это и ставят нас на настоящую, благоразумную и умеренную точку зрения.

— Положим, что лета, — возразил я, — потушили у нас с вами юношеский пыл, но как же вы хотите остановить этот пыл в молодых людях? Что бы сказали вы, ваше превосходительство, если бы кто-нибудь вздумал останавливать ваши порывы в молодости? Как бы вы отозвались тогда об такого рода людях?.. Слово «отсталой» в устах молодых людей приводит вас в трепет; при этом роковом слове губы ваши бледнеют, точно так же, как бледнели губы у тех убеленных опытом практических мудрецов, которых вы некогда, да еще с презрительной иронией, клеймили этим словом...

Старческий голос ничего не отвечал мне на это, и мне показалось, как будто кто-то удаляется от меня на цыпочках.

Вслед затем я почувствовал страшный шум в ушах, какие-то лица замелькали перед моими глазами, толкая, перебивая и стараясь перекрычать друг друга. Крики эти, сначала неясные, постепенно усиливались; сначала слышны были слова: журналистика, литература, искусство для искусства, истина в искусстве, истина в науке, истина в жизни, прогресс, цивилизация, современные вопросы,

критика чисто эстетическая и философская. Потом уже можно было различать целые фразы: «Мы проводники исторического направления в литературе». «Мы презираем всякое скороспелое решение трудных общественных вопросов»... «Мы будем изучать коренные народные свойства и смело прилагать к ним последние выводы науки, следить за развитием русской жизни и науки»...⁷⁸ «Мы люди самостоятельные, потому что наши теории пользуются сочувствием просвещеннейшего меньшинства»...⁷⁹ «Мы останемся верны однажды принятому нами направлению...»⁸⁰ *Мы, мы!!* — и все снова слилось в мычание и нестройный гул... Кричавшие и шумевшие господа разворачивали различных форматов объявления и программы и помавали ими в воздухе.

Я догадался, что это объявление о журналах и газетах на 1861 год.

Из этой кричащей и помавающей печатными листами толпы резко отделились два господина: один из них возвещал с большою торжественностию, что с наступающего 1861 года критическим отделом русской литературы в «Отечественных записках» будут заведывать С. С. Дудышкин и *Андрей Александрович Краевский*⁸¹.

Возвещение это было принято с криками: **Bravo! Bravo! Bis! Bis!**

Господин, возвещавший такую неожиданную новость, раскланялся и повторил еще громче — и *Андрей Александрович Краевский*...

Снова раздались рукоплескания и крики: «**Bravo!**»

— Но как же мы узнаем, — раздался голос, — критические статьи, принадлежащие перу *Андрея Александровича*?.. В стары годы думали, что все

критические статьи пишет сам Андрей Александрович...⁸² Необходимы подписи под статьями. Нам приятно будет познакомиться с критическим дарованием г. Краевского, а без подписей это невозможно. Сколько подписчиков прибудет у г. Краевского, когда появятся на обертке статьи с его подписью... Любопытно, в высшей степени любопытно!!

— Подписи! Подписи! — раздалось со всех сторон.

Другой господин, выступивший из толпы, объявлял также с неменьшею торжественностью, что «Библиотека для чтения», при *хорошем расположении к ней многих литераторов*, не исключая и тех, которые *наиболее пользуются любовью публики*, будут с таким же успехом продолжать свое дело — и скромно заметил, что в конце 1860 года «Библиотека» *успела счастливо соединить повесть Тургенева, драму Островского и драму самого редактора: «Горькая судьбина», удостоенную Уваровской премии*⁸³.

— Да кто же говорит это? — спросил я у какого-то человечка, вертевшегося передо мною.

— Боже мой, да сам же редактор — г. Писемский.

— Странно! — заметил я.

— Что ж тут странного? Почему же не отдать самому себе должную справедливость, заметил человек...

Среди этой самолюбиво шумящей толпы прохаживались разные весьма оригинальные личности. Мне между прочими бросились особенно в глаза два джентльмена: один совершенно лысый и полный, с двойным лорнетом на носу, очень гордо посматривавший на всех, в тончайшем белье и с дырявыми сапогами, все потиравший рукою у ложечки и жаловавшийся, что страдает *гастритом*. Мне сказали, что это один из героев «Нашего времени», по имени *Феопотала*⁸⁴. Он подходил ко всем и всем объявлял, что он самого аристократического

происхождения, а именно сын черта, и потому наследовал от своего почтенного батюшки все его добродетели — сомнение, ядовитую иронию, адскую насмешку и т. п., рассказывал о своих коротких связях со всеми замечательными современными дипломатами и решал судьбы Европы.

Другой джентльмен, человек весьма уже пожилых лет, но с необыкновенно приятной и добродушной физиономией, беспечно прохаживался, страстно закатывая глаза под лоб и распевая в экстазе любовные стихотворения. Он не обращал внимания ни на кого и не заботился о том, слушают его, или нет. Это был один из последних приверженцев *искусства для искусства*. Он пел, как поет соловей на ветке:

Мой ангел, не гляди так строго и сурово... и проч.

.....

Расстались грустно мы. В окно кареты прямо

Свет падал от луны, мы мчались по шоссе... и т. д.

Пылкий поэт становился на колени то перед воздушною блондинкою, то перед энергической брюнеткою, то бросал обеих, кидался к восхитительной *шантретке* и восклицал:

Не правда ли, чужда душа твоя обмана?

Но если... о солги!...

Седые волосы его развевал ветер... Он, вздыхая, расхаживал с своею лирою и подглядывал под шляпки, не пропуская ни одной барыни, ни одной барышни... Он им

дарил сладкие взгляды и страстные строфы... Он не видел ничего в мире, кроме природы и женщины... Природу и женщину, женщину и природу воспевал он, приводя в негодование г. Розенгейма, который все обличения, печатающиеся в «Московских» и других «Ведомостях» усиливался перелагать в стихи и отыскивал поэзию (вот чудак—то!) в надворных и уголовных судах...

«О, пламенный поэт! — думал я, глядя на вздыхающего поэта, задумавшегося над фиалкою и в то же время срывавшего розу, — тебе простится многое, потому что ты так много любил... Но послушайте! послушайте! Он уже не верит в любовь... это ужасно!.. На шестидесятой весне он доходит до горького разочарования и называет себя ребенком. Он поет, обращаясь — к кому бы вы думали?... к камелии:⁸⁵

Дитя! не верю я любви,
Но благодарен *всей душою*
За ласки нежные твои,
За страстной поцалуй *порою*.
Твое роскошно так плечо,
Так кудри веют ароматом,
Ты так *сжигаешь душу взглядом!*
Зачем любовь?... и т. д.

Я не мог выдержать долее. Я выскочил из моего фельетонного уголка, где скрывался до сих пор никем не замечаемый, бросился к поэту и вскрикнул невольно:

— Милый поэт! Бога ради... Что вы делаете, и в ваши лета! Зачем вы клеветеете на вашу *бессмертную* душу (вы как поэт, вероятно, верите ее бессмертию) и заставляете ее унижаться перед какою—нибудь камелиею!.. Вы знаете, что мои благородные литературные собраты, так много занимавшиеся мною в последнее время, прозвали меня

певцом камелий и пишут в честь мою стихи...⁸⁶ Я могу вас уверить как специалист по этой части, что Камелии не понимают *душевной* благодарности и что их никто никогда не благодарит *душою!*..

Я хотел сказать еще что-то, но меня сурово оттолкнул «Московский вестник» и принял пламенного поэта, с *ропотом любви*, в свои объятия⁸⁷.

Толчок был так силен, что я чуть было не сшиб с ног какого-то меланхолического господина с благородным, гордым и умным челом, прохаживавшегося в отдалении от всех с знаменитым бельгийским политико-экономом г. де-Молинари⁸⁸.

— Меня оставили почти все мои сотрудники, — говорил меланхолический господин, — почти все... и если бы не вы, мой благородный европейский друг... я не знал бы, что делать... О, самолюбие! ты перессорило меня со всеми моими сотрудниками-соотечественниками...

И я стою теперь — один,
Как голый пенек среди долин!

210

Он вздохнул и продекламировал с выражением:

Так поздним хладом окруженный,
Как бури слышен зимний *свист...*
Один на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист...⁸⁹

— Но с вами и с вашей помощью я не трепещу за свое издание, — прибавил он через минуту и крепко сжал руку г. де-Молинари...

В эту минуту вдруг из одного угла раздались неистовые крики: «Измена! измена!»

Все всполошились.

— Что за измена? какая измена? кто изменил и кому? — раздалось отовсюду.

— «Современник» изменил своим принципам, — кричали «С.-Петербургские ведомости», — и отныне никто уже не будет верить «Современнику» и никто, к нашему удовольствию, не будет *подписываться* на этот журнал...

— Что же такое он сделал? В чем его преступление?

— Г. Григорович издал нелепейшие книжонки⁹⁰ для «Народного чтения», а «Современник» — это ужасно! невероятно! — хвастающий своей любовью к народу, промолчал об этих книжонках, и отчего бы вы думали! — оттого, что г. Григорович сотрудник этого журнала. Такого поступка еще не бывало в русской журналистике!.. Измена! измена! Тот, кто после этого будет *подписываться* на «Современник», — должен быть предан позору!!

Когда шум поутих немного, я осмелился заметить, что г. Григорович и без того уже достаточно наказан журналами за свой опрометчивый поступок, что гласность была к нему беспощадна и почти целый год обличала его и что «Современник» промолчал о «Народном чтении», придерживаясь одной очень умной пословицы, которую приводить здесь бесполезно...

Слова мои подняли страшную бурю. Григорович был мгновенно забыт, и рецензенты, критики, фельетонисты с неописанным ожесточением кинулись на мои «Заметки о петербургской жизни», имевшие дерзость появиться отдельными книжками. Остроты, колкости, насмешки, намеки, несколько, впрочем, притупившиеся от частого употребления, посыпались на меня.

Господами этими предводительствовали «Отечественные записки», которые, ко всеобщему

изумлению, вдруг изменив свой мрачный и строгий характер, обнаружили какую-то неестественную и яростную веселость. Они начали с того, что сорвали с меня маску псевдонима, стали подпрыгивать передо мною, кривляться, дразнить меня языком и восклицать:

«Ах, Иван Иваныч! если бы вы знали, что вы сделали! вы напечатали свои повести и вместе с вами Новый Поэт напечатал свои «Очерки». Я вас знаю, как свои пять пальцев, Иван Иваныч!.. Ах, что вы сделали!..

Глядя на эти странные кривлянья и шуточки ученейшего журнала, я улыбался и думал:

«Ах, Андрей Александрыч, Андрей Александрыч! что с вами сделалось! Вы выходите из себя. Ну, идет ли такой балагурный тон к вашей глубокомысленной и строгой физиономии, к вашему ястребиному взгляду?.. Прилично ли вам, редактору ученого журнала, *деятельному сотруднику «Академической газеты»⁹¹*, главному директору «Энциклопедического лексикона»,

211

члену разных ученых обществ, акционеру всевозможных компаний, одному из видных петербургских домовладельцев, автору «Мыслей об России»⁹² и так далее, и так далее — прилично ли вам, старцу, умащенному сединами, так счастливо устроившему свою карьеру, даже более самого Ф. В. Булгарина, обеспечившему себя своими учеными и литературными трудами, — прилично ли вам, я повторяю, разгневаться до юмора на какие-то бедные фельетонные статейки, не претендующие ни на что, кроме обличения разных шарлатанов и спекулянтов, прикидывающихся либералами и подвизающихся на журнальных и иных поприщах?...»

Но ученый редактор при моем скромном замечании разгневался еще более, оставил свой гневно шуточный тон и загудел, как набат:

— Вы родоначальник всех литературных гадостей и скандалов! вы первые подняли знамя шутовства своим «Литературным маскарадом»⁹³. Вы ни на что более не способны, как прославлять Шармера⁹⁴, позорить своих приятелей, описывать гнусных камелий... Скандал! скандал!

— Да! плодотворная мысль — писать стихи на смех принадлежит бесспорно Новому Поэту, — вскрикнула, подбоченясь и *икнув*, «Библиотека для чтения», следовавшая за «Отечественными записками», — от небольших этюдов, писанных на смех, Новый Поэт дошел до значительных книжек, изданных для потехи, просто сказать, дошел до геркулесовских столбов!.. Он сделался *значительно староватым* и дошел до последней крупинки своего остроумия. Это второй Булгарин!..

Известно, что обиднее этого сравнения уже ничего быть не может в литературе. Я вздрогнул от боли⁹⁵.

— Новый Поэт, — скромным и тоненьким голоском прибавил в свою очередь «Светоч», изредка появляющийся и похожий более на печально мерцающие старинные масляные фонари⁹⁶, — певец хлыщей и монтеров, поэт камелий и женщин из петербургского полусвета⁹⁷. О! в этом роде у него, конечно, нет соперников!! Он имел бы полное право дать своим очеркам название *Камелиад*...

И произнеся это, скромный «Светоч» замигал и, потухая, пустил легкую струйку копоты.

Признаюсь, что этот шум, возбужденный моим именем, это единодушное ожесточение и даже некоторая ярость, обнаруженная против меня руководителями разных журнальных органов, — подействовали не без приятности на мое самолюбие.

— Trop d'honneur! Trop d'honneur, Messieurs,* — повторял я про себя, — я никак не ожидал от вас такого внимания к себе... До сих пор я имел только одну претензию быть не хуже *ваших* фельетонистов (это, кажется, не велика претензия!), но вы, удостоивая меня вашей лестной ярости, вашего лестного гнева, придаете мне такое значение, о котором мне и во сне не снилось. Вы делаете меня *родоначальником* целой школы — правда, школы скандалов, но все-таки родоначальником!... Вы говорите, что я моими стихотворными пародиями развел целую фалангу смехотворцев-подражателей. Ничего подобного никогда не нашептывало мне даже мое самолюбие, а известно, что самолюбие

212

есть тончайший льстец. Вы ставите мне в вину, что я описывал хлыщей, монтеров, камелий и дам петербургского полусвета, но я писал и пишу фельетоны — не более как фельетоны!... нельзя же мне говорить в них о «Борисе Годунове»⁹⁸ или сообщать свои «Мысли об России» — это дело людей ученых, а я не берусь *не за свое дело*. Я никогда не заявлял претензию быть чем-нибудь кроме фельетониста... Я не приписывал себе никогда чужих ученых и литературных статей, не выдавал себя за критика, не пользовался чужою славой, не жил чужим трудом,⁹⁹ не хвалил самого себя в своих объявлениях и в своих изданиях, не брался за редижирование Энциклопедий, не называл *кровожадными тихонями* своих литературных противников, не пользовался денежными поощрениями откупщиков — словом, не был причастен к тому, что всеми уже единогласно признается за *скандал*... Я не

* Много чести, много чести, милостливый государь (франц.). — *Ред.*

злоупотреблял гласностию... Разве скандал выставлять, по мере своих способностей, на позор мелочность, пустоту, тщеславие, закоснелость и дурные поступки литераторов, журналистов, разных ученых и простых смертных?.. Разве кто-нибудь из порядочных людей упрекал вас, г. Краевский, в *скандале*, когда некогда вы или сотрудники вашего журнала выставляли на позор Булгарина?..¹⁰⁰ Но положим, что я родоначальник литературных скандалов, — как же вы благосклонно принимали мои скандальные статьи в вашем журнале? Вспомните, я в течение почти десяти лет имел честь быть *бескорыстным* сотрудником «Литературных прибавлений к Инвалиду» и «Отечественных записок» под вашей редакцией; имя *Нового Поэта* вышло из «Отечественных записок»...¹⁰¹ Отчего же вы поощряли некогда скандал, на который нападаете теперь с таким ожесточением?.. Как пояснить такое противоречие? Не принадлежит ли все это к тем *тайнам* петербургской журналистики, на которые намекает протокол общества пособия нуждающимся литераторам и ученым?..¹⁰²

При последних словах моих, вся окруженная ореолом света, появилась малютка-гласность, притопнула грозно ножкой и вскрикнула детским голоском, несколько косноязычным:

— Кто смеет говорить о *тайне*? Я ненавижу *тайну*... *Тайна* — дитя мрака. Она прикрывает всякую ложь и нечистые деяния — и вы, мои поклонники (она обратилась ко всем органам журналистики), не должны терпеть в среде вашей никаких тайн, если любите меня искренней, нелицемерной любовью... Смотрите, господа! Я разоблачу все ваши тайны, если только, как говорят, они водятся за вами....

— Позвольте, однако ж, гласность гласности — рознь, — сурово и отрывисто возразил ученый редактор,

который обещает писать с 1861 г. критические статьи в своем журнале, — на меня пишут шутовские статьи и стишонки, так я должен терпеливо сносить их, во имя гласности? Провались она совсем, такая неприличная гласность!.. Это скандалы, пасквили...

— Если затронуть вас, — произнес голос из толпы, — то это скандал, пасквиль, а если вы затрагиваете других *не с литературной стороны*, то это вы как называете?

— Я не пишу шутовских статей, я не свищу...

— Ведь только потому, мой милый, что вы не умеете свистать, — заметила гласность.

213

— Я, — продолжал ученый редактор злобно, — развиваю *истину в науке, истину в искусстве и истину в жизни*...

При этом он взглянул как-то особенно на редакцию «С.-Петербургских ведомостей», в которых принимает *деятельное участие*, и значительно мигнул ей левым глазом.

В то же мгновение из этой редакции выскочил какой-то маленький, дикий и растрепанный человечек, знакомый только доселе правлениям акционерных компаний и не имеющий ничего общего с литературой... Он дико сверкал глазенками, сжимал кулачки, на оконечностях рта его была пена... Он походил в карикатуре на Маиерони¹⁰³, в 4 действии «Юдифи», изображающего пьяного «Олоферна»... Этот невероятный человечек тащил для чего-то за волосы бедного «Алеко» Пушкина и кричал во все горло и так пронзительно, что все должны были заткнуть уши...

— Эй, вы! *перестаньте бить и драться, литераторы!*!

А сам между тем, с удивительною наглостию, замахивался на всех московских и петербургских литераторов, попадавшихся ему на глаза.

Все, и литераторы и люди посторонние, с удивлением и улыбкой посматривали на этого человечка и отстранялись от него. Один только ученый редактор, обещающий в 1861 г. свои критические статьи, приятно потирал свои руки и бормотал про себя: «Молодец! молодец!»

Человечек с особенною яростию бросился на меня и, размахивая своим кулачком перед моим носом, кричал:

— Ты наглая бездарность! ты *невероятная* бездарность! Ты *колоссальная* бездарность, — бездарнее тебя еще ничего в мире не было! Ты породил множество бездарных и наглых личностей...

И человечек начал перечислять их имена, которые я не повторяю здесь... Я только думал, смотря на буйствующего человечка: боже мой! какое удивительное значение имел бы я в русской литературе, если бы я мог породить такого рода людей!

— Слышал ли ты, — повторял мне человечек, задыхаясь, — я говорю тебе, что ты *чудовищная* бездарность и вся ваша редакция...

— Славно! славно! — повторял ученый редактор, обещающий в 1861г. лично заняться критикой, и начал было рукоплескать своему клевету, но взрыв единодушного хохота заглушил это рукоплескание...

— Что это за явление? Объясните, пожалуйста! — кричали и литераторы и публика, обращаясь к будущему критику, выпустившему на сцену забавного буяна...

— Что же? — грубо возразил ученый редактор, — ничего... Он говорит дело... Он вступается за *истину в науке*, за *истину в искусстве*, за *истину в жизни* — против шутов и крикунов...

Но при этом раздался хохот еще сильнее и громче...

Вся картина осветилась разноцветными бенгальскими огнями. Ученый редактор и *будущий* критик, поддерживая яростного человечка, своего нового сотрудника, карабкался вместе с ним на какие-то подмости... Там на высоте, освещенные этими огнями, они приняли живописную позу, обняв друг друга.

214

Снова раздался хохот и рукоплескания публики, которые, вероятно, были приняты ими за одобрение, потому что они начали раскланиваться.

Огни, однако, потухали, распространяя чад и смрад. Раздался «Свисток» — такой резкий и пронзительный, что ученый редактор и его клеветник вздрогнули и, взглянув друг на друга, произнесли со скрежетом:

— А он все еще свищет, да еще как? — этот проклятый «Свисток»!..

Чад, дым и копоть от бенгальских огней закрыли от меня все видения. Я начал задыхаться, чихать, кашлять и едва открыл глаза.

В комнате моей дымился потухший карсель.

Я вскочил, как сумасшедший, с дивана, открыл форточку и несколько минут с наслаждением вдыхал в себя холодный воздух, с приятностию ощущая на разгоревшихся щеках освежающие снежинки.

На улице была страшная метель. Снег, сметаемый с крыш, смешивался с снежным вихрем, поднимавшимся с дороги, и крутился вихрями.

Часы пробили час.

Я записал все виденное мною и когда пробежал мою рукопись, то воскликнул невольно:

— В «Свисток» ее! в «Свисток», на который теперь обращено в особенности внимание всех наших ученых, публицистов, журналистов, беллетристов, и т. д.

Я знаю. Времени безжалостный поток
Уничтожает все и жертв повсюду ищет,
Лишь посмеивается над ним один «Свисток»
И с прежней силою он в *новом годе* свищет, —

с которым (то есть с Новым годом) имею честь поздравить гг. Краевского и других моих критиков и собратьев по журналистике... *Mieux tard que jamais!**

215

* Лучше поздно, чем никогда (франц.). — Ред.